

МИКА ДЛИННОРУКИЙ

Вот так штука! Холодрыга на дворе, стылая земля, будто бубен, звенит под ногами, надо забираться в одёжу со сбитнем, а моя чернёная деревенская шубейка затрещала по швам, кода я попытался её натянуть на себя. Видно, к четвёртому классу я здорово вырос, раз рукава — до локтей, а хлястик — на лопатках.

Сметливая и предприимчивая моя бабушка Наташа поставила на стол потёртую швейную машину “Зингер”, “сучинила” мне к настоящим холодам лопотину. В ход пошли остатки чернёной шубейки и рваного овчинного одеяла. Это была “нижница”, подбой. На “верхницу” пустила бабушка материал, который папа берёт себе для гимнастёрки и брюк, но вовремя сшить не сумел, а теперь война. Папа на фронте, а мне — долгану — надо что-то носить. Новехонькая верхница скрыла все изъяны меховой основы. Воротник бабушка приспособила от папиного старого пальто. Покрутила меня перед собой и заключила:

— Куды с добром лопотина. Иди учися, сокол.

Что мне больше всего понравилось в пальто, так это карманы. Бабушка отыскала в деревенских холщовых запасах самую прочную ластафину: хоть вдвоём дери — не порвёшь. А ещё карманы получились такие глубоченные, что рука уходила в них чуть ли не до подмышек, и то до дна я едва доставал.

Бабушка Наташа считала, что для притужного военного времени эдакие карманы и надо шить. И конечно, была права. Что только не носил я в карманах: шарикоподшипники, принесённые со свалки, гвозди, гайки, разноцветные провода, рогульку для будущей рогатки, самодельный пистолет “самотьку”, который бабахает, если запыхнуть в него спичечную селитру. Всё позарез нужные вещи! И ещё хватало места, чтобы сунуть с десятков мороженных картофелин, подобранных у госпитальной помойки.

Из мёрзлой картошки бабушка состряпает такие лепёшки, ешь — за ушами трещит!

Мой дедушка Василий Фаддеевич, худой и ссутулившийся от болезней, ещё в молодости в германском плену пристрастился к курению и до сих пор отстать от него не мог, хотя себя не одобрял за это. По выражению бабушки, “харчел да зобал”, то есть кашлял да курил. Денег на табак дедушке взять было неоткуда — стал он инвалидом без пенсии. Осенью был столяром в госпитале, стеклил окна на сквозняке и простыл. На пенсию городского стажа не хватало, а деревенский в счёт не шёл. Вот и подшивал дедушка валенки, мастачил шубёнки, ремонтировал гармони да чего-то писал про свою жизнь. Но всё это были безденежные занятия, “одна меледа”, по мнению бабушки.

Чтобы облегчить мытарства курильщика, по пути в школу и возвращаясь домой после уроков, собирал я для него на улице окурки — “чинари”, благо на снежной обочине их было хорошо видно. Да и глаз у меня навострился благодаря ежедневному зырканию по снегу. Даже в сумерках легко находил я “чинари”.

Но вот беда, курильщики в войну тоже жили скудно и затягивались самокруткой до тех пор, пока не начинало палить губы и пальцы. И конечно, я торжествовал, когда попался толстый чинарь — “бычок”. Это такая же удача, как увесистый окунь на рыбалке.

Надёжной кладовой для “бычков” были мои бездонные карманы. Дедушка радовался моему приходу, бабушка “не замечала” чинарей, а мама заглянула как-то в мои карманы и закашлялась: оттуда густо тянуло табачищем, и было в них черно, как в нутре самоварной трубы. Хорошо, что она догадалась, кому я собираю окурки, а то, заподозрив, что курю я сам, могла бы “натипать” за волосы, чтоб неповадно было. Времени на моё воспитание у неё не хватало: работа от темна до темна, а впрок дёрнуть за кыштым всегда полезно.

Летом 1942 года дедушка вырастил табак-самосад, и мои сборы “бычков” прекратились, но вот зимой 1941-го я работал, как окуркоуборочная машина.

Я выгружал мокрые вонючие “чинари”. Дедушка рыжими прокуренными пальцами освобождал их от закурок, сыпал табак в консервную банку и подсушивал на печке-буржуйке, чтобы выжарить всякую пакость. Мало ли какие рты тянут табачный дым! Самосад-дериглаз, махра, какой-то эрзац, похожий на изыяной мох, благородный лёгкий табак, попав в одно место, превращались во взрывчатую смесь, от которой дедушка уже не “харчел”, а “хомкал” и “лаял”, что гораздо громче и страшнее для его больших лёгких.

Для того, чтобы “наловить бычков”, я ходил по людным центральным улицам города, а чтоб найти картофельные очистки, забирался в укромные места, на задворки. Благо мне, полусироте, выдавали в райсобесе талоны для дополнительного питания. Кормился по ним то в столовке “Рекорд” рядом с краеведческим музеем, то в чучаловском доме, где теперь овощной магазин. Полусироты ежедневно отправлялись туда, чтобы похлебать баланды с ржаными клёцками. О баланде говорили: “Один кочан капусты на двести литров воды”, ну, а за клёцкой тоже приходилось гоняться с ложкой по тарелке. На второе раздатчица бросала в тарелку две ложки заварихи, которую я проглатывал мгновенно.

Горячая еда поднимает дух. Не очень сытый, но с приятной теплотой в желудке выходил я на улицу Ленина и завёртывал на улицу Дрылевского — так она тогда называлась, — в комиссионку. В войну это был самый интересный магазин, набитый всяким шмотьём. Стояло там чучело огромного медведя на задних лапах. Говорят, что раньше украшал этот медведь ресторан.

А ещё были там чучела глухаря и рыси. Рысь смотрела на меня зеленоватожёлтыми, свирепыми глазами. Того гляди — прыгнет. А какие там продавались ружья, фотоаппараты и бинокли! Вот бы мне такое ружьё или бинокль!

Повздыхав, пообтирав рукавами шубы прилавки, выбирался я на улицу. У входа на своей двухколёсной колымаге сидел, маяча руками и мыча, Коля Немой, высоченный, чуть ли не с фотографа Шишкина мужик с улыбчивым лицом. Коля Немой со своей колымагой был единственным в Кирове “грузо-такси”. Во время войны и после неё горожане часто прибегали к его услугам. Коля был согласен везти груз хоть на край Кирова. За это его любили.

Однажды Коля Немой исчез. По городу прополз слух, что он вовсе не Коля Немой, а хитро притворяющийся глухонемым шпион, которого выследила и сцапала НКВД. Но потом Коля снова появился около комиссии, так никто и не узнал, что с ним было на самом деле.

В тот раз на Колю долго смотреть не пришлось. С улицы Ленина раздались звуки оркестра, и я побежал туда. Маршем шёл красноармейский полк со знаменем. Солдаты чётко отшагивали с винтовками на плече, вещмешками за спиной и противогазными сумками на боку. Наверное, направлялись на вокзал, а оттуда поедут прямо на фронт. Может быть, под Волховстрой, где мой папа. На марширующих бойцов слёзно и умильно смотрели женщины, муromo стояли рабочие-коломенцы, мальчишки швыркались сливками носами, девчонки, подражая матерям, куксили глаза.

Смолк оркестр, и повисла неожиданная тишина. Только шорох солдатских валенок. И вдруг так же неожиданно, как ударил оркестр, взмыл красивый сильный голос: “Вставай, страна огромная, // Вставай на смертный бой // С фашистской силой темною, // С проклятою ордой...” Припев: “Пусть ярость благородная...” — подхватила вся колонна. Да так мощно, что мне сразу стало ясно: такие красноармейцы разобьют фашистов, хоть те и дошли чуть ли не до Москвы.

Мой дедушка каждое утро прикивал ухом к чёрной шляпе едва шептавшего репродуктора, чтобы узнать, какие города оставили наши войска “под натиском превосходящих сил врага”.

Дедушка расстраивался, курил и ругался, почему Сталин не подготовил обещанный в песнях тройной ответный удар. Дедушка все оставленные города знал. Наверное, бывал в них и, конечно, ему было тяжело, что всё происходит так, как в 1-ю империалистическую, и что опять “нас немец надуд самым коварным образом”.

Обмундирование у красноармейцев было новенькое. Мне больше всего понравилась противогазные сумки. Вот бы папа прислал мне с фронта такую сумку! Я бы стал носить в ней учебники и тетрадки, и ещё хватило бы места для моркови, репы и жмыха, которые можно выменять у деревенских одноклассников на шарикоподшипник, общую тетрадь или на “самотыку”.

Прошли военные, я обследовал обочину. Окурков не оказалось. Некогда солдатам на марше курить. Они песню пели. Увидел я, как к столовке “Рекорд” подходит известный всему нашему городу лохматый компанейский человек-точильщик Ягодка со своей машиной на плече. Он снял точильную машину и силпо закричал, будто запел:

— Н-ножи точить, н-ножницы, б-бритвы править, — и не очень уверенно добавил, — мясорубки вострить. — И зеваки повалили на его голос. На счёт мясорубок Ягодка, конечно, загибал. Где теперь мясо? Но посмотреть на точильную машину, послушать Ягодку интересно. Улыбчивый старик всех называл ласково “ягодками” и заработал себе такое прозвище. Он всё режущее точил, а сам брился редко, волосы гребнем не потачил, был небрит и кудлат.

Зеваки плотно окружили Ягодку. Пробылась сквозь них с целым веером ножей в руке скуластенкая, с жарким румянцем на щеках, вся пышущая здоровьем и силой повариха. Ей и холод нипочём: на босы ноги надёрнуты галошки.

— Дяденька Ягодка, поточи, — просительно сказала она. Повара — народ гордый, неприступный, у еды стоят. Значит, Ягодка очень нужный человек, раз к нему обращаются так почтительно.

Ягодка взял из рук поварихи самый большой, что тебе сабля, нож и нажал растоптанным валенком на педаль точильной машины. Та завизжала, извлекая из наждака целую струю искр. Здорово! Я зачарованно смотрел на Ягодку и его машину. Вот бы мне такую, тогда и учиться не надо: ходи себе, зови народ да крути колесо.

Повариха попробовала пальцем острие ножа, одобрительно цокнула языком. Когда Ягодка закончил точку, сунула ему в руку вынутый из-под фартука промасленный свёрток и виновато сказала:

— Ты уж извини. Денег на точку не дают, дак вот на, поешь.

— Деньги зло, — ответил Ягодка, — не было бы денег, не было бы зла.

— Чего? — изумилась повариха и широко открыла глаза. — Деньги зло? Свистишь, Ягодка! Кабы теперь мне мильён, дак я бы разоделась, как королева!

— Деньги зло, — убеждённо повторил Ягодка и не спеша развернул бумагу. В свёртке оказались скрученные в трубку блины. Видно, ещё горячие. Парок идёт. А в самой трубке мясо. Ух, вкусно, наверное. Ягодка ел да чмокал от наслаждения. На лацканах подпоясанного веревкой Ягодкиного пальто были жирные пятна. Видно, ему приходилось чаще всего есть вот так, на ходу.

— Ну ладно, я пойду, — смирившись с тем, что деньги зло, сказала начавшая зябнуть повариха и, хлопая галошами, побежала в столовую. А Ягодке уже протягивал ножницы лохматый парикмахер-еврей по имени Ефим, у которого волосы торчали даже из ушей и ноздрей. О Ефиме говорили:

— Если хочешь убедиться, что человек произошёл от обезьяны, то взгляни на Ефима, — но он не обижался на это.

— Лысым-то разве лучше ходить? — резонно спрашивал он.

— Будь любезен, Ягодка, — просительно сказал парикмахер, и точильщик принялся за ножницы.

Отходя от Ягодки, я тоже мучился вопросом: почему деньги зло? Мне это было непонятно. Зачем тогда люди ломают головы, как заработать, украть или выклянчить деньги? Надо спросить у дедушки, он знает.

Дедушка много читал, хотя по вечерам электричество в жилых домах не горело. Он сделал лампочку-мизюрьку с четырьмя рожками для экономии керосина и сидел над книгами при её скупом свете. Мне он дал томик сибирских рассказов писателя Наумова, в котором говорилось о том, как кабатчики на тракту обирали золотоискателей. Выманивали золотишко, поднаивая их. А если подпоить не удавалось, то и убивали. Тут уж и золото, и деньги были злом. Может, Ягодка тоже эту книгу прочитал?

От Ягодки лежал мой путь вверх по улице Ленина к полукруглой гостинице, где теперь был госпиталь для моряков. Здесь тоже было на что посмотреть. На самом перекрестке улиц Ленина и Коммуны стоял сегодня высокий статный военный регулировщик в перчатках с белыми раструбами. Он пропускал машины, запряжённых в розвальни лошадей, идущих строем ребят из ЖУ. Носили жезлники нарядные чёрные, как у моряков, шинели и гордились этим. Движения у регулировщика были чёткие, отточенные, как у заводной игрушки, в руке его легко и красиво летал полосатый жезл. Ему подчинялись машины и люди, и я, поднав под упоительную магию чётких движений, несколько раз перешёл улицу в своей длиннополой, на вырост, шубе. Ах, как мне хотелось стать вот таким регулировщиком! Тут я даже забыл о чинарах, хотя толпящиеся зеваки бросили немало окурков. Просто мне было как-то неудобно подбирать “бычки” на глазах такого красивого и чёткого регулировщика. А военный регулировщик стоял неспроста. Послышался гул, от которого задрожала земля. Шёл он откуда-то с Профсоюзной. И вот показались танки. У-у, какие махины! Нет, фашистам несдобровать. Приду, расскажу дедушке, чтоб поднять его настроение.

Самым оживлённым местом в первую военную зиму были рынки, ну и, конечно, наша Пупырёвка тоже.

Говорят, название это она получила от фамилии кузнеца Пупырёва, который ковал лошадей у приехавших сюда крестьян.

Во времена кузнеца Пупырёва наверху, где теперь драмтеатр, была хлебная площадь. Там торговали мукой, каравами и ярушниками, а на Пупырёвке был грубый товар: дрова, древесный уголь для самоваров и утюгов, салязки, щепные изделия, дёготь, сено. Теперь Пупырёвка торговала всем, чем угодно: молоком, картошкой-моркошкой, пайками хлеба, самодельными конфетами величиной с ноготок, мебелью, корзинами, бидонами, спаянными из консервных банок, нательным бельём. Эвакуированные старички и старушки держали в руках какие-то старинные портсигары, шитые бисером сумочки и пояса, картины, галстуки, кружевные воротнички. А кому теперь, в голоду, нужны эти галстуки и воротнички?! Куда полезней товар у военных-старшин: ремни со звездой, двухпалые для стрельбы перчатки, мыло, шапки. И задёшево отдают. Они в самоволке, дорожки недосуг.

На Пупырёвке не заскучаешь. Вон красноносые прозябшие фотографы-пушкари, поколдовав в своих полотняных декорациях, вынесли мутные “пятиминутки” для паспорта или пропуска. Могли они снять какого-нибудь страдающего от безделья романтика на фоне пальм у моря, нарисованного на заднике, или в круге, вроде спасательного, со словами: “Привет из Кирова”. И находились любители сняться под пальмами и в спасательном круге. Тут же рядом бельмастый слепой играл песню “Раскинулось море широко”, у другого — белая мышка вытаскивала пакетики, где написана судьба.

Шумнее всего в табачном ряду, где продавцы-инвалиды севшими прокурренными голосами хвалили свой “табачок, как первачок”. Но все шумы затлушили ругань и рёв, которые раздавались на рынке, когда появлялся, откуда ни возьмись, пацан-хапальщик и, вырвав пайку хлеба, портсигар или ремень из рук менялы, был таков. Воришки с добычей мчались в недостроенный дом, куда опасались заходить даже милиционеры.

До войны вроде все были мальчишки как мальчишки. А теперь вот, в голоду, стали одни работягами на заводах, другие хапальщиками. Татарчонк Равиль одно время учился в нашем классе, был сообразительным, весёлым, а потом школу бросил и связался с хапальщиками. Появился как-то на перемене в классе, учил курить папиросы, показал золотую брошку с бриллиантом, которая будто бы стоит миллион рублей.

— Тётка подарила, — смеялся Равиль, но ясно было, какая это тётка. — Вот продам — много денег будет.

Мне сыпанул Равиль в карман подсолнечных семечек и опять исчез. Мать у Равиля умерла перед войной, отец был на фронте, а бабка работала, и Равиль сам себя кормил, развлекал и вот стал хапальщиком.

Предводительствовал у хапальщиков горбун Мика. Этот парень был намного старше рыночных воришек. Его сверстники давно ушли на фронт, а он сначала поработал холодным сапожником в будке, а потом занялся сбытом ворованного и игрой в очко. Обыграть пацана для него было проще простого. Почти все игроки были у него в долгу.

Жёлчный злой Мика держал хапальщиков в страхе, выигрывал или отбирал у них ворованные вещи поценнее, и никто ему противиться не мог. Секрет Микиной силы заключался в его по-обезьяньи длинных руках. Никому не удавалось дотянуться до его рожи, а он мог отмутузить любого парнишку, держа на расстоянии длинными цепкими руками. Побаивались его и взрослые, потому что он мог и “пощекотать пёрышком”.

Игра шла в доме Мики на Луковицкой, как по старинке называли улицу Профсоюзную. Мать его, виноватая заискивающая женщина, боялась Мики. Её он ругал и даже бил за то, что она уронила его в детстве с полатей и сделала уродом. Да ещё имечком таким наградила: вместо Мишки — Мика.

К этому времени появилась у Мики рыжая шмара по имени Файка. Говорят, она была эвакуированная и вовсе загибалась от голода, а Мика её накормил, отогрел, оставил у себя. Эта красивая, с большими поволочными глазами девица курила, пила вино и пела под гитару: “Я девчонка ещё молодая, // А душе моей тысяча лет”. Файку Мика боготворил, дарил ей всякие безделушки, а, приревновав, бил, упрекал, что спас её от смерти, а потом ползал перед ней на коленях и просил прощения.

В тот день я издали увидел на Пупырёвке Мику. Он шёл, окружённый гурьбой хапальщиков и любопытных. Чтобы показаться немного выше ростом, Мика шеголял в хромовых сапогах на венском каблучке. На башке у него красовалась высокая шапка-кубанка, на плечи накинуто распахнутое кожаное на меху пальто. Штаны у него были из чёрного бархата, а на пиджак выпущен ворот белоснежной рубашки. На зубе золотая фикса. Из всех он выделялся этим нарядом.

— Где Равиль? Татарчонка он ищет, — переговаривались хапальщики, зыркая глазами по сторонам. Больше других старался Пеликан, белокрысый парень с двойным рядом зубов.

— Подростки — моя забота, — говорил Мика. — Равиль, где ты?

Нашли Равиля, и вся гурьба следом за Микой ринулась в недостроенный дом. Лицо у Мики было вредное, как у батьки Махно из фильма о гражданской войне.

— Я слышал, у тебя брошечка появилась? — сказал Мика, глядя на Равиля. Равиль смотрел затравленно и настороженно, видимо, собирался сигануть через проём окна, но чего-то ждал.

— Была, — сказал он, пятась.

— А теперь где? — спросил так же елеино Мика.

— А теперь нету, — буркнул Равиль.

— Да я сегодня у тебя её видел, — крикнул Юрка Пеликан.

— Ну и что, что видел, — отступая, крикнул Равиль. Мика махнул рукой, и тут же бросилась на татарчонка Микина ватага блатарей.

Но Равиль ждать не стал, он вдруг кинулся не к проёму окна, а к Мике. Не успел тот распустить свои длинные руки, как Равилева башка, будто пушечное ядро, врезалась в Микину рожу. Видно, забыли хапальщики, что татарчонок владел неотразимым ударом головой. У Мики показалась кровь из носа. Он взвыл и заматерился, прикладывая к носу платок.

— Краску достал, — с ужасом закричали опешившие хапальщики, потом навалились на Равиля. Тот не успел выскочить в проём окна. Что тут началось! Его били кулаками, ногами, орали.

— Да вы что, как фашисты, — крикнул я, но тут же задохнулся, потому что получил удар поддых. Это Пеликан саданул меня локтем.

Наверное, Равку забили бы до смерти, но раздался крик “атанда!”, милицйские свистки. Хапальщики разбежались.

Последнее, что я видел, это золотую брошь в руках Мики, которую передал ему Пеликан, выгачивший её из Равкиного потайного кармана.

В проёме дверей показался усатый старик-милиционер. Он всматривался в тёмные углы, но, видимо, не заметив нас, сказал девчонке-милиционерше:

— Они ведь как горные козлы, р-раз — и ускакали.

— Надо облаву сделать, — сказала девчонка, — тогда их всех выловим.

Милиционеры ушли. Я помог Равилю подняться. Он плевался кровью, хватал рукой снег и прикладывал к разбитому лицу, к голове и грозился, что ещё достанет Мику и Пеликана. Я вёл Равку домой, в посёлок Горсовета, где и сам жил, и думал, почему Мика такой злой и жестокий. Наверное, он завидовал всем нормальным людям и хотел сорвать свою обиду, отомстить за своё уродство. А Равка зря ворует, попадёт ещё в тюрьму. Надо ему сказать, чтоб устраивался на работу или шёл в ремеслуху. Там кормят.

— Ты, Равка, больше на Пупырёвку не ходи, — сказал я ему.

— Меня дядька в Казань зовёт. Он полковник. И папка пишет, чтоб я туда ехал. Я брошку хотел продать, чтоб в Казань, а потом мне старика, который брошку продавал, стало жалко. Я ему хотел обратно отдать. У него сын на фронте погиб, старуха при смерти, а я брошку украл. Сказал бы ему: вот, я нашёл, а Мика... У-у, я ему.

— Не надо, Равка, из-за брошки тебя убьют, — начал опять я уговаривать татарчонка.

— Я сам всё знаю. Я Мику достану, — твёрдо проговорил Равка. — А ты иди. Спасибо тебе, — и мы расстались.

Равка после этого исчез. Бабка сказала, что он уехал в Казань, другие клялись, что его забрали в колонию, а среди хапальщиков шёл слух, что

татарчонка зарезал Мика, а потом утопил в вошочей проруби у шубного завода. Жалко, если Равку зарезали. Он был добрый и смелый, самого Мики не боялся.

А Мика жил широко. Он ходил с рыжей Файкой в ресторан и гужевал там. Ему ничего не стоило закатиться со своей шмарой на какое-нибудь гулянье к директорше столовой. Их там угощали, поили и ждали, когда, наконец, они умоляют восвоятся.

— Как дела? — спрашивала заискивающе директорша столовой.

— Пока не родила, — хрипло отвечала Файка и хохотала.

Файка, нарядная, крикливая, помыкала Микой, гнала его от себя. Мика принесил вино, шоколад и плёл что-то о море, на которое он повезёт Файку, когда освободят от немцев Кавказ. Мать смотрела молча на Мiku и Файку и тяжело вздыхала: “Ох, не кончится всё это добром”.

— Заткнись, — визгливо кричал Мика и запускал в мать своими сапогами на высоком каблуке.

А судьба длиннорукого Мики и вправду сложилась не так, как он хотел. Кончилась война. Можно было бы уехать на море, да не тут-то было. Страна начала освобождаться от мусора и накипи. Многих Микиных корешей посадили, ханальщиков поприжали. Одни забросили свое ненадёжное занятие, поступили на работу, те, что постарше, ушли в армию.

Вот в это время неожиданно появился Равка, живой, в военных погонах и даже с медалями на гимнастёрке. Стал он сыном полка и воевал. О воровском прошлом говорил со снисходительной улыбкой. Оказывается, он всё-таки уехал к своему дядьке-полковнику, а тот взял его в музыкантский взвод, и вместе с полком прошёл Равка от Днепра до Праги.

Я думал, что Равка будет мстить Мике, но он только присвистнул: дела давно минувших дней.

— Мне надо школу кончать и в консерваторию поступать, — убеждённо сказал он.

Удар ждал Мiku с другой стороны.

В Кирове после войны появилось много молодых неженатых офицеров, и один лейтенант, служивший в Германии, втюрился в рыжую Файку. Она ведь была очень красивая и фигуристая. Они тайно от Мики расписались, и лейтенант покотил с молодой женой по месту службы в город Берлин.

Узнав об измене и не веря в неё, Мика кинулся вдогонку за Файкой. Пересаживаясь с поезда на поезд, настиг молодожёнов в Бресте. Он был уверен, что вновь уговорит Файку вернуться к нему и всё у них будет по-прежнему.

На шумном брестском перроне Мике удалось найти Файку. Златокудрая, весёлая, она стояла в дверях вагона и белозубо смеялась шуткам лейтенанта.

— Можно тебя? — хрипло попросил Мика и, отведя к парапету, вдруг упал на колени и заплакал. — Умру, если ты меня бросишь. Я умру, Файка!

Файка криво усмехнулась.

— Ох, Мика, как мне надоели твои противные длинные руки, — крикнула она и пошла к своему лейтенанту. Мика так, на коленях, и остался стоять, с протянутыми руками.

Поезд ушёл. Жалкий, побитый побрёл Мика с западной платформы на восточную.

Вернувшись домой, он запил, а потом пронёсся слух по Луковицкой, что Мика повесился, привязав шнур к матице.

Луковицкие и шевелёвские воры пронесли гроб с Микой на полотенцах через весь город на кладбище. Такой был у них ритуал. Кроме них, были только мать да трое дальних родственников. Растаяла Микина слава. Мало кто помнит о его всесилье и величии, и даже стёршаяся замшелая могильная надпись не напоминает ни о чём. Там написано: “Михаил Иванович Поткин”. Мы даже забыли, что у него была такая фамилия. Мика Длиннорукий — это прозвище ещё кое-кто помнит.

СКИТАНИЯ ЛАПЕРУЗЫ

Начало войны Юрка Мальцев запомнил с пятого на десятое. Жили они в городке Ревда Свердловской области. Куда-то собирались поехать всей семьёй на отдых. Отец, работавший начальником строительства завода, подогнал к крыльцу чёрную лакированную легковую автомашину “эмку”. Мать вышла нарядная, в белой шляпе и новом платье, сестрёнка тоже расфуфыренная, с бантиками в косичках. Отец укладывал в машину чемоданы и пел: “Нас утро встречает прохладой...” Как всегда, дело было за Юркой. Он придумал на этот раз в новой матроске гонять голубей. Снял сандалии и бегал босиком, гремя пятками по железной горячей крыше. Голуби были не его, а тёти Аютиного сына Федыки, которому не хотелось лезть на крышу, а Юрка с азартом размахивал тряпкой, привязанной к палке. И вот оттуда, с верхотуры, Юрка увидел, что бежит санитарка тётя Анюта из маминой больницы и что-то кричит. Запыхавшаяся, она остановилась около автомашины и сказала упавшим голосом:

— Лидия Филипповна, разве вы ничего не знаете? Гитлер войну начал. Города наши бомбит. Вам велено срочно в больницу идти.

Отец и мать тут же уехали на свои работы, а Юрку оставили сидеть с Танькой. Никакой поездки на отдых не получилось, да и голубей гонять охота пропала.

Жизнь закрутилась. Отец подолгу пропадал на стройке, сдавал дела, потому что получил из военкомата повестку. В последний раз он появился в военной гимнастерке — в пелтицах по два кубика, что значит лейтенант.

Мать была старшей хирургической медсестрой больницы, ставшей госпиталем, и дома даже ночевать не всегда удавалось. С войны приходили эшелоны раненых, и она помогала главному врачу-хирургу оперировать их. Операции шли день и ночь, и Юрку с сестрёнкой навещала соседка-санитарка тётя Анюта. Её Федыка ушёл работать на завод, и за ними она ухаживала, как за родными детьми. Кормила, отправляла Юрку в школу, а Танюшку — в садик. Потом Юрка сам научился жарить на примусе яичницу и кипятить чай, водить Таньку в садик, потому что и тёте Анюте стало некогда нянчиться с ними. Надо было заготавливать дрова для кочегарки, и её послали на лесозаготовки.

Мать забегала домой, чтоб наскоро отоспаться, обстирнуть для Юрки с Танькой заношенные рубашонки и кофты, покормить их всерьёз — супом и вторым, — и опять исчезала.

Однажды она появилась поутру и начала спешно бросать в чемодан Юркину и Танькину одежку. Сказала, что вот-вот придёт машина, и они поедут в город Свердловск и там встретятся с папой перед его отправкой на фронт. Отбил он телеграмму, чтоб мама с ними была на вокзале. И вот они стоят на людной широкой вокзальной площади. Из улицы выехали на неё кавалеристы на конях. Их было много-много. С саблями, винтовками, фуражки на ремешках под подбородком. Гремел оркестр, цокали подковами лошади, грохотали по мостовой пушки. Всё это Юрку оглушило, и он не знал, куда смотреть. Мать повернула Юркину голову туда, куда надо, и крикнула:

— Маши руками, вон наш папа, — и сама замахала косыночкой, закричала: — Паша, Паша, мы здесь!

Юрка смотрел во все глаза, но отца так и не увидел. А может, отец так изменился, что его не узнать. Мама сказала, что отец похудел, осунулся, был 120 килограммов, а осталось всего ничего.

Папину кавалерийскую часть быстро погрузили в теплушки и отправили, не дали даже родным попрощаться.

Матери тоже надо было ехать в ту же прифронтовую полосу, но с санитарным поездом за ранеными, и она устроила Юрку и Таньку в детский дом. У Таньки была шубка под леопарда, а Юрке мама привезла обнову — аккуратную шинельку с золотыми пуговицами. Её сшила госпитальная портниха. Шинелька Юрке пришлась впору. Был он в ней, как игрушечный солдатик, ловкий и аккуратенький. В карман этой шинельки мать сунула красную

тридцатку на расходы и адрес деда Филиппа, который жил на какой-то станции Чернушка.

— Если будет голодно, — сказала мать Юрке, — напиши, дедушка придет и заберёт вас к себе, а то мы с папой пока без адреса.

Она заплакала, размазывая слёзы по щекам, и принялась Юрку и Таньку целовать, видимо, зная, что без неё им будет плохо.

Остались они с Танькой в детдоме. И правда, им там было плохо. Шамова никуда не годная, да ещё парни постарше обманывали, отнимали хлеб, тридцатку у Юрки забрали, надавали щелбанов и подзатыльников. Защищать их никто не мог. Даже воспитатели побаивались этих парней. Тогда Юрка сам стал защищаться, как учил его папа: кулаком в подбородок или три удара в зубы, а сам наклонись и уходи в сторону. После того как он врезал двоим парням, Юрку трогать перестали. Но всё равно Юрка написал материному отцу деду Филиппу, что их кормят плохо. “Возьмите нас к себе в Чернушку”, — закончил он письмо.

Недели через полторы появился в приёмном покое детдома бородатый старик в лаптях, который оказался Юркиным и Танькиным дедушкой. Этот заросший до глаз чёрным волосом старик пришёл к ним из Чернушки пешком, угостил их деревенскими шаньгами, морковью и сухарями. Всё было такое необыкновенно вкусное, душистое, что они от деда не отходили. Боялись, чтоб он не уехал без них.

— Ну дак, значит, в Чернушку? — спросил он. — У нас там детвы гимзит. Весело будет. Ну, да как-нибудь перемелемся.

Дед знал, что какая-то его племянница работает в почтовом вагоне “корреспондентом” и возит почту. Вот она и уговорила своего начальника, чтоб тот разрешил довести до Чернушки дядю с внуками, а то пешком им не дойти. Морозы. И они все поехали в Чернушку.

В дедовом деревянном доме на станции Чернушка и вправду народу было — гимзит: бабушка Евдокия Степановна, три тётки, у которых мужья были на фронте, привезли одна двоих, другая — троих ребят, зато у работавшей продавщицей тётки Фаи детей не было, но к ним определили на постой двух преподавателей военного училища, расквартированного в Чернушке. Те заняли светёлку-боковушку, а все остальные ютились в большущей комнате с полатами. Военные приходили со своими портфелями на ночь, утром опять уходили.

Магазинская тётка Фая была добрая и совала Юрке и Таньке то по прянику, то по конфетке, но она всё время проторговывалась. Дед с бабкой её ругали, называли “простодырой” и помогали выплачивать недостачу. Родная ведь дочь, куда денешься...

Главной в доме была бабушка Евдокия. Высокая, жилистая, она ходила решительным бодрым шагом, и все её боялись. Она и за коровой ухаживала, и поросят кормила, гусей, куриц держала во множестве, да ещё огород обрабатывала. Дед, путейский рабочий, у бабки был на подхвате. Работы у стариков набиралось с утра до вечера — невпроворот. Дед, как только садился на жёсткий диванчик, так сразу задрёмывал. Уткнёт чёрную бороду в кулак — и поехал-захрапел.

— Старик, воды нисколь нет, — обрывала бабка его храп.

Дед безропотно поднимался и шёл по воду. Но бабка находила для деда новое дело и новые причины для упрёков.

— Не замай, мать, — устало упрашивал он её.

Внуков бабка тоже не щадила. Зимой ругала за то, что дров к печам поленились принести, дорогу не прогребли от снега, а летом — плохо пропололи морковку, лук не полили, кому корову пасти, никак договориться не могут.

Самыми значительными часами в бабкиной жизни были те, когда она ходила на станцию к поездам торговать свежим и топлёным молоком, варенцом, варёной картошкой, луком, квасом, морковкой. Всё это дед вёз ей на тележке. Она догоняла его, нарядная, в белом фартуке с вышивкой, в платке с цветами. Вроде становилась красивее и моложе.

Голодные солдаты с эшелонов, эвакуированные, едущие на Урал, все продукты подметали подчистую. Бабка приносила целую сумку мятых денег.

В субботу в дедовом доме становилось ещё теснее и шумнее. Двери, впуская вместе с паром одетых со сбитнем людей, бухали беспрестанно. Это приезжали на базар деревенские мужики и бабы — русские, татары, башкиры. Им удобно было располагаться у бабки с дедом, потому что в широком дворе были навесы для лошадей. А на столе этих людей в высоких валенках ждал горячий самовар. С мороза они выпивали не по одному десятку чашек кирпичного и морковного чая.

За постой расплачивались приезжие мясом, мёдом, мукой, солодом, маслом топлёным и льняным и другим провиантом.

Бабка с дедом прикупали у крестьян по дешёвке муку, мясо, башкирский дикий мёд. Зимой, разрезав мёд на брусочки, выносила его бабка продавать на стацию. Мёд разбирали мгновенно. Кому не хочется полакомиться сладким!

Соседи бабку с дедом не любили, завидовали, что ли, за глаза называли спекулянтами и даже кулаками. Внучатам нашёптывали: жадины, кулаки.

Это потом Юрка понял, что деду с бабкой, чтоб прокормить такую ораву, приходилось крутиться день и ночь, не щадя себя, вскакивать ни свет ни заря. А тогда и вправду казались скопидомами. Юрке было стыдно, что у него такие бабушка с дедом. Может, это повлияло, а может, то, что его двоюродный братик Толик, с которым они вместе спали на полатах, читал ему книжки про морские путешествия и про партизан, но они вместе решили бежать на фронт. Эта решимость стала ещё крепче, когда от Юркиного отца пришло письмо, где он сообщал, что теперь находится в Вязьме на перереформировании. Юрка с Толиком сейчас точно знали, куда им бежать, и они стали копить сухари, а ещё воровать у бабушки деньги.

Вернувшись с базара, бабушка Евдокия бережно расправляла мятые денежные купюры и раскладывала их по кучкам: тридцатки с портретом Ленина в одно место, десятки — в другое, пятёрки, на которых был военный лётчик в шлеме, — в третье, тройки — в четвёртое, и отдельно — рублёвки с шахтёром, который держал на плече отбойный молоток. Много высоких кучек набиралось.

Бабушка была неграмотная, считала с натугой и почему-то деньги складывала парами. Залезая в её сундук, Юрка с Толиком деньги тоже брали парами, думали, что бабка не догадается. Однако бабка пропажу стала замечать и спрашивала тётю Фаю, не брала ли та деньги.

— Да когда, я всё время в магазине. И без спросу я никогда!..

Девчонки были малы и глупы, поэтому бабка заподозрила в краже внуков.

— Никогда у нас воров не было, — говорила она. — А вот тут кто-то завёлся. Ну-ко, дед, займись-ко этими ухабаками.

Это ускорило день побега. Юрка с Толиком набили сухарями Толикову противогазную сумку, туда же положили деньги, а учебники спрятали на сеновале. Юрка взял с собой только книгу “Пятнадцатилетний капитан”. Дороже неё у него ничего не было. В это утро он погладил по голове сестрёнку Таню.

— Это ты чего? — не поняла она.

— Да так, — сказал он и отвернулся, потому что захотелось плакать.

Они устроились в вагоне на полу под лавками, грызли сухари, мечтали, как найдут в Вязьме Юркиного отца, и им было хорошо.

Доехали до Сарапула. Дальше этот поезд не шёл, потому что был местный, рабочий. Чтобы ехать дальше, пришлось ждать другой рабочий поезд.

На улице стоял мороз, и они пробрались в вокзал. Юрка устроился около толстой доброй хохлушки, которая назвала его гарным хлопчиком. Видно, красивая шинелька и то, что он читал книжку, произвели на неё впечатление. Толик сидел за печкой, обхватив обеими руками противогазную сумку, и подмигивал Юрке, радуясь, что всё идёт хорошо.

Дней через пять они доберутся до Вязьмы, найдут Юркиного отца, тот даст им коней, и они будут воевать с саблями в руках, как настоящие кавалеристы.

Однако случилось непредвиденное. Среди ночи в вокзале милиция устроила облаву. Всех подозрительных замели, в том числе и Толика с его сумкой. А за Юрку вступилась хохлушка, сказала, что это её хлопчик, и его не взяли.

Остался Юрка без денег и без сухарей. Наверное, Толика отправили в Чернушку, потому что Юрка его так и не дождался на вокзале. Ждал, ждал — нет. Хохлушка уехала. Ему страшно захотелось есть, и он пошёл на базар. Были у него вполне приличные рукавички. Их можно было поменять на хлеб, а руки он будет засовывать в карманы и не замерзнет.

Чем только не торговал базар. И хлеб, и молоко, и пироги с картошкой, которые он так любил есть в Чернушке. Около торговки стоял горбоносый парень в папаче, со шрамом на щеке и ел такие пироги. Видать, тёплые, вкусные.

— Купите vareжки, — сказал ему Юрка.

Парень посмотрел на него быстрым приметливым взглядом и вдруг сказал:

— А ты намочи рукавицы водой, приложи вон к тем кружкам молока, которые тетка продает, и они прилипнут. Я тебя вон там, за сараем, ждать буду.

Юрка сообразил, если он украдёт круги мороженого молока, у него и vareжки сохранятся, и парень даст ему картофельных пирожков. Он так и сделал, приложил мокрые vareжки к крутам молока и те пристыли. Он схватил их и деру. Только в ушах зазвенел тёткин крик:

— Держи вора, держи! Украд пацаненок!

А парень в папаче и правда ждал его за сараем. Он дал Юрке два пирога с картошкой и похвалил:

— Маленький, а ловкий. Сегодня тебе тут уже не надо появляться, пойдёшь со мной.

А Юрка был рад, что нашёлся человек, который проявил о нём заботу. Вот поест он, отдохнёт и дальше поедет.

— Мне в Вязьму надо, к папке, — сказал Юрка.

— Поедем и в Вязьму, — пообещал парень. Звали этого парня Чапаем, мелюзга вроде Юрки табунилась около него. Бездомных он брал ночевать к своей бабке, которая жила на окраине города, скупала и перепродавала ворованное. Там Юрку ещё раз накормили и дали десятку. Теперь бы можно было идти на вокзал, чтоб утром сесть в рабочий поезд, но Шурка Чапай отвёл в сторону.

— Ты мне, Юрок, помоги. Есть на путях вагон со жмыхом, а окошко такое узкое, никому не пролезть, кроме тебя. Заработаешь денег и поедешь в свою Вязьму. Идёт?

Ну, вот ещё раз он поможет Чапаю и поедет дальше.

Пошли они вчетвером. Один парнишка нёс мешки, двое на салазках везли Шурку Чапая. Чапай курил, кричал на парнишек:

— А ну резвей, залётные! — и те старались, тащили его.

Около станции Чапай посерьёзней, слез с салазок, послал к вагону двух пацанов, а Юрку оставил при себе. Пацаны вернулись: всё тихо, никого нет.

Подобрались к вагону. Юрку просунули в окно. Чапай посветил ему электрическим фонариком, бросил три мешка и скомандовал:

— Нагребай!

Юрка принялся запихивать тяжеленные пластины жмыха. Набил один мешок, подтащил к окошку, и Чапай принял его, Юрка стал набивать другой мешок. Второй мешок он заполнить не успел, раздался свист, приглушённый крик “атаанда”, потом милицейские свистки, и Чапай из окошка исчез. Юрка притаился в темноте, стараясь пробраться к окошку, чтоб вылезть, но до окна было высоко.

В это время лязгнул запор, отодвинулась дверь, и Юрке в глаза ударил свет фонаря.

— Смотри-ка, совсем ещё шкет, — крикнул кому-то усатый милиционер, вытаскивая Юрку из вагона. — А тот, Чапай который, у них главарь.

Юрку привели в железнодорожную милицию, где уже сидел Шурка с пацанами, и санки с мешком жмыха были тут же.

Юрка не сознался, что бежал из Чернушки от деда с бабкой, ещё общат им, они его со свету сэживут. Говорил, что отец и мать на фронте. Милиция больно и не выспрашивала. Их с Чапаем отправили в колонию в город Муром. Это ещё ближе к Вязьме. Если убежать, то совсем немно- го останется, чтоб доехать до отца. Но как теперь отсюда выберешься?

В колонии им дали новые бушлаты, шапки, ботинки. Жалко, шинельку отобрали.

— Не дрейфь, — подбадривал его Шурка Чапай, — зимой посидим, а весной утекём.

— Мне в Вязьму надо.

— Можно и в Вязьму, — опять согласился Чапай. Он всегда соглашался, зная, что никому не известно, каким будет завтра.

До весны Юрка учился. Кругом пятёрки. Да ещё он столько книг прочитал про морские путешествия, что стал подумывать о том, чтоб отправиться не к отцу, а на Чёрное море. Войска наши уже освобождали Крым. Юрка представлял себя то юнгой, то пятнадцатилетним капитаном, хотя ему не было и десяти.

— Летом можно и на крыше вагона ехать, я много раз так ездил, — рассказывал Чапай. — Поедем.

Весной и правда они сбежали из колонии, но ни в Вязьму, ни к морю не поплыли. На базаре Чапай выхватил у торговки сумку с деньгами, передал Юрке, и они побежали к станции, но там как раз и попались.

“Эх, не надо было Чапаю сумку красть”, — думал Юрка, но было уже поздно, упекли их в другую колонию, в городе Александрове. Тут режим был пострее.

Юрка первым делом сбежал в библиотеку, попросил книгу о путешествиях, и библиотекарша дала ему томик о каком-то мореплавателе Лаперузе. Такого имени он ещё не слышал и сразу прилип к книге.

Воспитатели этой колонии были строги и даже жестоки, держали всех навтыяжку, особенно туго приходилось тем, за кем числился побег. Не без основания начальник колонии считал, что именно они и есть первые правонарушители и делают в детской колонии всю погоду, нарушения режима — только от них. Вот этих-то и надо поприжать.

Вызвали на разговор Чапая. Тот еле дополз после “беседы” с воспитателями до нар. Плевался кровью, матерился и кричал:

— Курвы! Им на фронт идти неохота, вот они и выслуживаются. Вчетвером на одного! Я их достану! Я их!..

Вызвали на беседу Юрку Мальцева, но разговора никакого не было. Двое мужиков подняли его, десятилетнего пацана, и бросили на землю. Никаких синяков, никаких царапин, а внутри всё отшибло. “Умру”, — думал он, чувствуя, что нет ни одного места в его теле, которое бы не болело.

Наверное, он и вправду бы умер, если бы не книжка о морском путешественнике Жане Франсуа Лаперузе. Он лежал на животе и, глотая слёзы, читал эту книгу страница за страницей. За шесть часов неотрывного чтения проглотил 605 страниц, и вроде даже боль утихла. Где он только не побывал за это время: в разных морях, на неведомых островах.

Говорить и рассказывать он мог теперь только о Жане Франсуа Лаперузе. Шурка Чапай, которому он первому рассказал о путешественнике, самого его, Юрку, прозвал Лаперузой. Забавное получилось прозвище. Вся детская колония стала его называть так. Даже при переключке дежурные путались.

— Какой такой Мальцев? Нет у нас Мальцева.

— Так это же Лаперуза!

— Ну, так бы писали, а то какой-то Мальцев.

У Юрки всё ещё теплилась надежда попасть к отцу на фронт. В Вязьме его, конечно, уже нет, и Юрка слушал радио: вдруг упомянут что-нибудь о его Павле Николаевиче.

В Чернушку он по-прежнему писать боялся: все узнают, что он вор.

Лучше через два года, когда выйдут из колонии, поедут с Чапаем на море, поступят матросами на корабль. Домой он придет в бескозырке и форме, и никто не будет говорить, что он сидел в колонии. К морю они чуть не попали: сцапали их в Ростове за кражу связки воблы и принялись дубасить. Хорошо, рядом оказался милиционер. Он от побоев их спас, но в колонию устроил.

Книгу о путешественнике Лаперузе Юрка выклянчил в Александрове у библиотекарши, вернее, она подарила её, потому что он ей и пачки литературы перетаскивал, и помогал переплетать книги.

И вот опять с Шуркой Чапаем да этой книгой оказался он в колонии.

Иногда Юрке было очень грустно. Лаперуз пропал без вести во время последнего путешествия со своими кораблями “Буссоль” и “Астролябия”. Неизвестно, что стало с ним. Есть только названный в память о нём пролив Лаперуза длиной 101 километр, а шириной 43 километра. А что от него, Юрки Мальцева — Лаперузы останется? Ведь он даже сообщить о себе никому не может. Тоже без вести пропавший, как Жан Франсуа Лаперуз.

В общем, набралось у него пять побегов, да столько же краж, которые были записаны в сопроводилровке, а такого человека в обыкновенной колонии держать не полагалось. Рецидивист, и направили в колонию усиленного режима.

Кончилась война. Это Юрка знал, но не знал он о том, что мать забрала из Чернушки Татьяну и со слезами расспрашивала Толика, куда мог подеваться её Юрка, но тот ничего не знал. А когда вернулся с войны отец, они принялись разыскивать Юрку, написали в управление колоний. Может, там их сын?

Юрка был в это время уже в Кургане, самой серьёзной колонии, в городе, всего километрах в ста от Перми, куда направили работать отца. И вот в Курган отправился Павел Николаевич и Лидия Филипповна. Тогда, после войны, родителям отдавали на поруки их заблудших сыновей. И Юрка оказался в родной семье. Единственной вещью, которую он ценил и взял с собой, была книга о путешественнике Лаперузе.

В школе он учился легко и восемь классов закончил почти на круглые пятёрки. Ведь он совсем по-иному относился к учёбе, чем его развесёлые одноклассники. Он знал, что чем лучше закончит школу, тем ближе его мечта стать мореплавателем. Да и вот оно, исполнение мечты: при Камском речном пароходстве объявили приём в школу юнг. На правах ремесленного училища. Вот куда ему надо!

Отец и мать упёрлись — ни в какую. Учись дальше. Окончишь среднюю школу, пойдёшь в институт, будешь врачом или инженером. А он хотел быть юнгой.

Родители боялись, что в ремесленном училище он опять поскользнётся, попадёт в колонию, и тогда...

Павел Николаевич скрепя сердце поехал с сыном в школу юнг, посмотрел, чем заняты учащиеся. О-о, там было всё чётко, как на корабле. Отец оттаял и согласился на поступление сына в школу юнг. У Юрки в глазах светилась надежда путешествовать, такая же, наверно, как у Жана Франсуа Лаперуза.

Он учился в школе юнг, а себя представлял штурманом дальнего плавания. После школы юнг ему дали направление в речное училище, которое он закончил с отличием. А потом и речной институт.

Я с Юрием Павловичем познакомился, когда он был начальником крупного речного порта. Он мне сразу понравился своим весёлым добрым нравом, ироничным отношением к себе, умением держать слово. А потом уже узнал я о его, так сказать, подпольной кличке и страданиях маленького Лаперузы.

“БУЛОТШКА”

У дачадовской нянечки Лёли Решетниковой было два сына. Старший — четвероклассник Колька — в отца: белобрысый, плечистый (называла она его Ломтик), учился во вторую дневную смену. Младшенького Витальку, который учился в первом классе, с утра приходилось будить ни свет ни заря и тащить в школу, взяв на крошки. Этот был в неё: черноволосенький, и называла она его ласково Гвоздик. Укрытый от дождя столовой клеёнкой, Гвоздик досыпал у матери на спине.

Известно, октябрь — грязник. Не пустишь малыша в полутемь. Провалится в какую-нибудь баралужину и весь извозюкается.

Город Киров в войну вовсе ослеп — ни фонарей на улице, ни лампочек в подъездах домов. Дощатые тротуары осенью и зимой 1941-го растащили эвакуированные из Москвы работяги на дрова. И даже деревянные кресты с Богословского и Ахтырского кладбищ истопили. А что этим бедолагам оставалось делать? Приехали налегке в чужие места с танковым заводом: ни дров, ни съестных припасов. Вот и волокли, что на глаза попадалось. Еле перемучили первую военную зиму, а теперь вот вторая зима на носу, к ней кое-что огуревел заезжий народ, картошку свою нарастил, да и завод помогал, чем мог.

О чём только не размышляла Лёля по дороге в школу! От мужа Фёдора с фронта пришло только одно куцее письмо-треугольник: “Голодно, мёрзнем, многие погибли. Может, и я так же...” Наверное, в унылом кручинном настроении писать больше было не о чем, а тоску нагонять не хотелось. Вот и получилось письмо-коротышка. А теперь и такого нет. Может, вовсе загинал Феденька?

Проходными дворами для сокращения дороги пробиралась Лёля к школе. Хорошо, что Колька сапоги резиновые сумел заклеить, теперь не текут, а то бы шла сырым-сырёненька.

Ещё беспокойнее роились мысли в голове у Лёли о её Гвоздике — Виталике. Чего с ребёнком стряслось, непонятно было. Тучная басовитая учительница Олимпиада Викентьевна признала Витальку неспособным к учёбе: по арифметике не успевает, на уроках невнимательный. Вертится, еле читает по складам и вообще плохо соображает. Обидный этот приговор учительницы слушала Лёля с панической тоской. Пыталась сказать, что в садике мальчишка все хвалили. Стихи звонче других рассказывал. А как полечку плясал под песенку: “Шарик Жучку взял под ручку, стали полку танцевать, а Барбосик — чёрный носик стал на скрипочке играть”. Лёля со слезными от умиления глазами смотрела на своего Гвоздика. И музыкальный работник хвалила его — поёт лучше всех, и уверяла, что непременно будет Виталик в школе отличником. А теперь, поди ж ты, далеко её Гвоздику до отличника. Всё у него в тетрадках “плохо” да “посредственно”. Ясно, что подмогать ребёнку надо, да как она поможет, коли в деревне бегала в школу всего один год. Читает сама через пень-колоду.

Колька, Ломтик её белобрысый, хоть и не отличник, но не жалуется на него учительница Наталья Серафимовна, говорит, что он твёрдый “хорошист”. И теперь вся надежда на него. Пусть бы объяснял Виталику, как примеры решать надо.

Колька и по хозяйству всё ладно обучился делать: дрова принесёт, печь затопит, картошку в мундире сварит. Голод — не тётка, заставит вертеться. Ну, и в магазине хлеб по карточкам выкупить — тоже Колькина обязанность. Больше-то ничего не отоваривают простым иждивенцам.

Одолела Лёля с сыном на крошках семь кварталов и поставила Витальку на ноги около мужской школы, которая уже засветилась огнями, и валил маленький парнячий люд с портфелями, холщовыми сумками в двери.

— Ну, учися, Виталик, бастенько. Слушайся Олимпиаду-то Викентьевну. Не вертись, — сказала Лёля.

Виталька скривил рожицу и, подпिनывая коленками потёртый портфель, двинулся в школу.

— Слышишь, бастенько учися, — добавила Лёля вслед сыну.

— Ладно, — вяло и неуверенно откликнулся он.

В наполненной галдежом и гудом школке Виталька, прежде всего, залюбовался дежурным — шестикласником Петькой Шамовым, живущим в соседнем с ними доме. Петька сегодня — красавец-красавцем. У него красная повязка на рукаве комбинированной куртки, а в руке — настоящая винтовка. Всё у неё по-заправдашнему, только на казённике круглая дырка, чтоб не стреляла. И хоть Петька строгий и ответственный сегодня, Виталька задал давно мучивший его вопрос: а что, если дырку на казённике глиной замазать или свинцом заколотить? Будет она стрелять?

Петька в это утро, как взрослый. Ответил, что винтовка стрелять не будет, а произойдёт взрыв и может глаза выбить.

— Ты беги скорее, а то я звонок подаю, — сказал он и, подождав, когда Виталька доберётся до классной двери, затряс колокольцем.

Успел Виталька до прихода учительницы занять своё место. Вошла большая, толстая, в меховой жилетке для тепла Олимпиадушка, как называл её Виталька. На плечах — необъятная шаль, под которой и портфель, и стопы тетрадей, и какая-то сумка скрываются.

— Встали, встали. Это чего, Виталья Решетников, всего тебя искривило? Выпрямись! Надо учителя уважать, — пробасила она.

Поначалу Виталья учительницу уважал и даже, наверное, любил, потому что она его по голове погладила, а потом ощутил, что она к нему стала уж слишком придирчива и строга. Сосед по парте Сёмка Филин как-то принялся дуть в чернильницу. Доигрался — брызги всё лицо окрошили, класс захохотал, а Сёмка заревел и сказал, что это Виталька его подтолкнул.

— Ничего я его не толкал, — возмутился Виталька, но не поверила Олимпиадушка, потребовала, чтобы положил Виталька руки на парту. Он положил. Уча щёлкнула по ним линейкой.

— Вот как надо с негодными руками поступать, — назидательно сказала она.

Сёмка злорадно язык показал, Виталька ему по шее стукнул и ещё раз получил удар линейкой, на этот раз по лбу. Нет, не больно ему было, а обидно. Нельзя сваливать на него то, что он не делал. Обиделся он на Олимпиадушку. Несправедливая.

С тех пор попал Виталька в разряд озорников и лодырей: и пишет-то он хуже других, и примеры решать не умеет, и вообще, что бы ни случилось в классе, прежде всего Олимпиадушка виноватым считает Витальку.

Просматривая тетради, Олимпиадушка и на этот раз Виталькой была недовольна.

— Опять по чистописанию небрежно всё сделал, — говорила она, хотя ему казалось, что он упражнение выполнил ничуть не хуже, чем сосед по парте Сёмка Филин.

К Сёмке Филину у Олимпиадушки было особое отношение. Сёмкина мать была продавщицей в хлебном магазине. То и дело прибегала в класс, шептала Олимпиадушке, что забросили в магазин ячную крупу или макароны и под вечер будут отоваривать крупяные карточки. Иногда она сама приносила Олимпиадушке бумажный кулёк с крупяными изделиями, и тот исчезал под необъятной шалью учительницы. У Витальки мать работает не на хлебном месте. Какой от неё прибыток! Вот и недолюбливает Олимпиадушка шалуна Витальку.

— Благодарштвую, — расплывалась в умильной улыбке Олимпиадушка перед Сёмкиной матерью.

Видать, язык у учительницы в детстве прищемили или ещё что случилось. Во всяком случае, многие слова она произносила с этаким пришлёпыванием и пришётыванием: вместо “чернильница” — “шернильница”, вместо “чётко” у неё получилось “щётко”, а вместо слова “булочка” выходило “булотшка”.

Вот с “булотшкой”-то и происходили самые обидные для Витальки истории.

После второго или третьего урока проносила Олимпиадушка в класс коробку с булочками, которыми полагалось подкормить каждого ученика.

Конечно, булочки эти были невелички — всего на четыре хороших откуса, но всё равно приятно голод перебить ими. Одни мальчишки с удовольствием съедали тут же всю булочку до крошечки, расчётливые прятали в карман и пощипывали, чтоб продлить удовольствие. И Виталька булочку припрятывал.

Но вот Олимпиадушка придумала этими булочками перевоспитывать непосидячих вертунов вроде Витальки Решетникова. Держа в руке перочинный нож, она вспоминала все Виталькины прегрешения:

— Ты сегодня, Витя Решетников, вертелся, мешал всему классу. Кроме того, по чистописанию нехорошо выполнил задание, и вовсе тебе бы не полагалось булотшки, да уж пожалеею тебя и полбулотшки дам.

Нож разрезал булочку надвое, и получал Витали только “полбулотшки”. У Витальки глаза наполнялись от обиды слезами, губы дрожали, хотелось крикнуть: “Неправильно! Всё неправильно”. Но ведь не дома это. Зажав “полбулотшки” в кулаке, он ронял голову на парту. От обиды и унижения не мог удержаться от плача. Почти всем по целой булочке, а ему опять половинка.

— Ишь, расхныкался. Раньше надо было думать. Заслуженное тебе наказание, — стыдила его Олимпиадушка.

Сёмка Филин как-то сказал Витальке, что его мать видела Олимпиадушку на Пупырёвском чёрном рынке. Там учительница продавала булочки. Видимо, из половинок набиралось у неё пять или шесть целых. Их и продавала она.

Но не побежишь ведь на Пупырёвку, где торгуют разной разностью, и не будешь кричать, что это его булочку продаёт Олимпиадушка...

С трудом отсидев четыре урока, с облегчением вырывался Виталька на посветлевший школьный двор. Там ребятня галдит, толкается. Но Витальке не до ребятни. Ждёт его там рыжий ласковый пёсик Лапка с хвостиком колечком. Лапка сразу бросался к Витальке. Вот тут-то и нужен припрятанный кусок булочки. Лапка-то вовсе, поди, голодный. А Лапка крутил хвостом, подпрыгивал, стараясь лизнуть Виталькину руку и даже лицо. Виталька гладил его: умник, хороший. Дождался.

Поднимался Виталька на крыльцо старого деревянного дома, где размещался детский садик. Лёля, встретив сынулю, снимала с него потрёпанное, с коротковатыми рукавами пальтишко и уводила с глаз долой в чулан. В кухне, где бурлили котлы с супом и кашей, находиться не полагалось. Принеся ему алюминиевую миску супа и кусочек хлеба, мать с тревогой спрашивала:

— Ну, как поучился-то?

— Поучился, — неопределённо отвечал Виталька и принимался есть.

Конечно, кормить Витальку в детсаду не полагалось. Он ведь был уже школьником, но заведующая — сердобольная Агния Михайловна — делала вид, что не замечает этого. Где Лёле-бедолаге найти прикорм для Витальки? Зарплатёшка всего семьдесят рублей в месяц, ну, за мужа пособие на двоих ребёнков — 150 рублей. Таких денег едва хватает, чтоб хлеб по карточкам выкупить да за квартиру заплатить. На Пупырёвке буханка хлеба стоит 250, а то и 300 рублей. Не по карману им. Лёля — человек безотказный, за любую работу берётся, чтобы поддержать семью. По ночам выкопала яму, вычистила помойку и туалет, и в яму эту упрятала отбросы. Дрова пилит и колет. И в доме соседям позажиточнее бельё берётся стирать, мыть полы в холодных сенях. Те-то руки берегут, а ей своих не жалко. Только бы как-то просуществовать в войну да сыновей прокормить. А там, поди, Федя-то вернётся с фронта домой.

На крыльце сытого Витальку ждал нетерпеливый Лапка. Он знал, что Виталька не забудет о нём, даст хлебца кусочек, косточкой с хрящиком, которую выпрашивала Лёля у поварихи, угостит. Лапка радостно молотил хвостом по крыльцу, заглядывая в глаза Витальке. Принёс? Конечно, принёс.

Наступали самые приятные часы в жизни Витальки. Ведь он мечтал стать укротителем зверей или клоуном, когда вырастет большой. Как-то до войны приехал цирк. Они всей семьёй ходили в этот цирк-шапито, и там

видел Виталька укротителя зверей и клоуна с собачками. Они так понравились Витальке, что решил он выступать в цирке, когда вырастет.

По мнению Виталика, Лапка очень способный цирковой артист. Он прыгал через деревянное кольцо, как этого хотел Виталька, ходил на задних лапах, “служил”. Наградой были кусочки хлеба, того, что Колька оставлял Витальке на ужин.

За уроки садиться не хотелось, да и примеры опять какие-то дурацкие попадались, на вычитание. Их Виталька не любил. Колька придёт из школы, поможет решить.

Кольке хорошо. У него учительница в четвёртом классе весёлая и добрая. Она с ними в кино и в театр ходила и даже в мяч играла на школьном дворе.

А как-то Колька явился из школы домой и объявил матери, что велела Наталья Серафимовна приходить всем с расчёской или гребешком.

— Зачем это? — встревоженно спросила мать.

— Наверное, вшей чесать станут, — беспечно ответил Колька.

— Да как это? При всех вот и будут вычёсывать?

— При всех, — сказал Колька.

Мать забеспокоилась. Расстелила на столе газету и принялась частым гребнем вычёсывать Колькину кудлатую башку. Оттуда с глухим стуком выпали четыре здоровенные пузатые вши.

— Гли-ко, чо с тобой делается, — запричитала Лёля, и ломаным ногтем придавила с хрустом этих животин.

— Погоди, не дави, не дави, я погляжу, — взмолился Виталька. — У-у, какие звери. Они как фашисты, да? — закричал он.

— Выходит, я фашистов кормил, — обиделся Колька. — Скажешь тоже.

А мать ещё искалась с ножом в руках в Колькиной голове, давила гнид и ругала сына:

— Ты в баню-то теперь без отца ходишь, дак, наверное, больше дуришь там да брызжешься, а надо по-хорошему мыться-то и с мылом.

После этого мать принесла из сеней холодную с мороза оцинкованную ванну, в которой мыли маленького Витальку, и, награв в кастрюлях воды, принялась мыть Кольку. Тому было стыдно — сидеть такому парнищу голышом. Он артачился. Сначала раздеваться не хотел, потом в ванну залезать. Но мать была неотступна.

— Экой позор. Вшей, скажут, развели Решетниковы. Лезь без разговоров, — и шлёпнула Кольку по попе.

А Виталька бегал кругом и хвалился:

— А у меня вошек нет, у меня волосы короткие.

— А я вот и у Кольки обсапаю его лохмы, — пригрозила мать, но потом пожалела, оставила волосы.

Оказалось, вовсе не вшей чесать понадобились Наталье Серафимовне гребешки и расчёски, а для того, чтобы создать шумовой оркестр. Каждому из парней раздала она по кусочку папиросной бумаги и научила, как из такой “губной гармошки” извлекать звук. К примеру, выдувать песню “Вдоль да по речке”, “Коробейники”. А когда сыгрался оркестр, потащила его Наталья Серафимовна в госпиталь выступать перед ранеными. Там концерт понравился. Да и ребятя тоже. У самих раненых, наверное, дома такие же “музыканты” росли.

А один раненый спросил ребят, умеют ли они петь? Колька не растерялся и сказал, что он знает песню про “Юного барабанщика”, который в атаку шёл впереди, и даже спел её. Раненым и песня, и Колькин голос понравились, а учительница смекнула: если оркестр станет подыгрывать певцу, вовсе хорошо получится, и велела Кольке выучить ещё одну песню — “Орлёнок”.

В этот вечер Колька с Виталиком маршировали по комнате и пели песню про барабанщика, “Орлёнка”, а ещё “А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер” из кинофильма “Дети капитана Гранта”, про командира Щорса: “Э-эх, раненый идёт”. А мама расплакалась:

— Вот бы папка послушал, как вы хорошо поёте.

На радостях она сделала завариху, поджарив муку на сковороде, прежде чем засыпать её в кипяток. Вкуснувшая получилась завариха, хоть и без масла.

Колькино пение Наталье Серафимовне понравилось. Чтобы у Кольки голос стал ещё звонче, купила она на рынке три настоящих сырых яйца и сказала:

— Выпей, Коля, чтоб в горле не першило. Ты ведь у меня солист.

Колька послушался, яйца куриные выпил. Вкусными они оказались. Только неплохо было бы их посолить да хлебом заесть для сытости. Но Наталья Серафимовна сказала, что певцам без хлеба их пить надо. Остальные ребята с завистью смотрели на Кольку. Хорошо быть талантливым, яйцами поят.

Кольке раненые аплодировали, а у кого был гипс, то единственной рукой колотили о спинку кровати и костылями стучали.

— Молодец!

И Колька им все четыре песни свои спел. Домой вернулся довольный. Певцом стал.

— А Виталик в детском садике тоже красиво пел, — сказала мать. Она за своего младшенького больше переживала, чем за Кольку. Тот в обиду себя не даст, а вот Витальке худо приходится в школе.

Виталька приставал к Кольке, чтобы тот помог примеры решить.

— Опять Олимпиадушка мне булочку обрежет, — жаловался он.

А Колька нашёл способ, как урезонить Виталькину учу. На перемене перед третьим уроком он заглядывал в первый класс. Олимпиадушка, наверное, понимала, что парень этот может рассказать о том, как она обрезает булочки, и давала Витальке в этот день “булотнику” целую.

Однако с учёбой дела были плохи, и в таблице у Витальки стояли оценки “плохо” за четверть. У Сёмки Филина были “хорошо”, хотя тот в ответах путался и писал плохо, и примеры решал неважно. Но его Олимпиадушка не ругала, Витальку же грозилась оставить на второй год.

Колька “хорошистом” заканчивал четвёртый класс. Жалел он только об одном, что Наталья Серафимовна в пятом классе преподавать у них не будет. Наберёт новый первый класс. Вот счастливцы какие-то попадут к ней. И понял Колька, что таким счастливцем должен стать его брат Виталька. Он как-то сказал Наталье Серафимовне:

— Возьмите моего братика Витальку в свой новый первый класс.

— Это как? Ведь он во второй перейдёт, — не поняла учительница.

— Нет, не перейдёт, — сказал хмуро Колька. — Его Олимпиадушка на второй год оставляет.

— Да ты что говоришь? Вроде такой живой мальчик, — посочувствовала Наталья Серафимовна.

— Плохо ему там, и всё равно не будет толку, если во второй переведут, — убеждённо сказал Колька.

Второгодники обычно бывают унылые и хмурые, а Виталька в последний день учёбы был весёлый, словно отличником закончил год. Колька сказал ему, что Наталья Серафимовна согласилась взять его себе в новый первый класс.

И правда, у Витальки на этот раз дела пошли нормально. В классе у Натальи Серафимовны и весёлым, и бойким он стал. А потом даже прославился. Наталья Серафимовна включила в новогодний школьный концерт номер “Песня “Орлёнок”. Исполняют братья Решетниковы — Николай и Виталий”. Хорошо они пеют. Всем номер понравился, а Олимпиада Викентьевна по прозвищу “Булотника” осуждающе сказала о Виталике:

— Может ведь, когда захочет. У меня вот не пел. Упрямый.

Себя она ни в чём винить не хотела.